

Война как обнажение приема:
1917 год в «Сентиментальном путешествии»
Виктора Шкловского

Знаменитый теоретик литературы и основатель русской «формальной школы» В.Б. Шкловский был, как известно, активным участником Мартовской революции, а затем — антибольшевистского повстанческого движения. С 1915 г. он служил инструктором в петроградской школе водителей броневых автомобилей, а после свержения монархии был прикомандирован к корниловскому Юго-Западному фронту в качестве помощника комиссара. Там он не раз участвовал в боевых действиях, водил полк в атаку, был тяжело ранен, и сам Корнилов в госпитале наградил его Георгиевским крестом. Закончил он войну уже в Иране, в составе русского экспедиционного корпуса. В числе наиболее впечатляющих персидских подвигов Шкловского — спасение целого народа — айсоров, которых он под прикрытием российской армии сумел вывести из страны, где их собирались истребить местные мусульмане. Впрочем, спастись — на сей раз от ЧК — вскоре пришлось и ему самому. На протяжении всего 1918 года Шкловский деятельно участвует в эсеровском сопротивлении большевистскому режиму, но затем навсегда отходит от конспиративной деятельности. Тем не менее, в начале 1922, во время свирепых антиэсеровских репрессий, Шкловский бежит из советской России через финскую границу. Свыше года он живет в Берлине, где в 1923-м выходит и его «Сентиментальное путешествие», которое часто называют лучшей из русских книг, посвященных Первой мировой войне и революции 1917-го года. К тому времени он твердо вознамерился вернуться в СССР, и своего рода расширенным ходатайством о праве на репатриацию стала другая его тогдашняя книга — «Zoo», призванная засвидетельствовать полную политическую лояльность автора. В 1923 он действительно переезжает в большевистскую Россию.

Первая часть «Сентиментального путешествия», названная «Революция и фронт» и представляющая для нас наибольший интерес, создавалась целиком уже в 1919 г., т. е. по самым свежим следам великих и трагических событий. Речь здесь идет в основном о стагнации Временного правительства, оказавшегося неспособным совладать с духами революционного хаоса, обуявшими русскую армию. В плане поэтики описание любопытно, среди прочего, как попытка согласовать те или иные, порой еще даже не отстоявшиеся, воззрения формальной школы с историческими реалиями, которые в силу подобного подхода обретают иногда характер чуть ли не прямой иллюстрации к теоретическим положениям. В других случаях заслуживают внимания элементы историософского мышления Шкловского, иногда — и довольно неожиданно — роднящие его с Горьким.

Одним из редких достоинств книги, напрямую связанных, конечно, с литературоведческим новаторством и интеллектуальной смелостью ее автора, представляется мне его тяга к разрушению любых, казалось бы, самых естественных и убедительных житейских клише.

Пресловутый прием остранения выказывает здесь себя во всем великолепии, хотя сам его изобретатель в данном случае отнюдь не стремится к эпатажу. Вообще, тон его подчеркнута суховат, доверителен и при этом очень точен в своей жесткой и экономной метафоричности.

Один из примеров остранения, перенесенного на политику, — совершенно нетривиальное отношение Шкловского к распутищине, изобличения которой с восторгом популяризировались любимыми революционерами для дискредитации монархического строя. Не в самой распутищине, а как раз в ее народном смаковании Шкловский видит симптом надвигающегося морального краха: «Я не люблю этой истории; в том, как рассказывалась она, было видно духовное гниение народа. Послереволюционные листки, все эти “Гришки и его делишки” и успех этой литературы показали мне, что Распутин явился национальным героем, чем-то вроде Ваньки Ключника»¹. (Вероятно, вездливый читатель мог бы проследить тут нечто вроде пунктирной линии, вскоре превратившей этого Ваньку Ключника в екатеринбургского рабочего-цареубийцу.)

Преобладающий тон в показе самой революции — то веселая, то кровавая сумятица, вакханалия всеобщей бестолковщины, никем не введенной еще в жесткое командное русло: «Масса шла, как сельдь или вобла, мечущая икру, повинуясь инстинкту» (15). Бестолковы и городовые, неправильно установившие пулеметы — на крышах, где у огня не было настильности — и сами восставшие, стрелявшие по стенам наобум: «Я убежден, что главная масса убитых во время Февральской революции убита нашими же пулями, падающими на нас сверху» (16). Главный нерв мятежа — вовсе не осознанная и целенаправленная решимость, а, напротив, нервная нерешительность, тревожное топтание на месте, прерываемое судорогой случайных импульсов. Новоиспеченные прапорщики, прошедшие «великолепно поставленную муштровку военных училищ», с такой же готовностью отвергают революцию, с какой потом переходят на ее сторону: «Наши офицеры говорили: “Делайте, что сами знаете”» (11). По Петрограду тянутся куда поезда с военными. Их уговаривают присоединиться к восставшему народу: «Из вагонов тарасились на нас люди и лошади. Офицеры отвечали, что они “ничего”, они едут мимо» (17).

Характерным образом, сама жизнь воспринимается в это время Шкловским — автомехаником и теоретиком-формалистом — как испорченный механизм, как разладившаяся машина, дающая сбои, которые вселяют в него отчаяние. Он верит в демократию и победу, он готов ехать на фронт — но в то же время признается: «Мне жаль было расставаться со своей командой, с нашей школой, которую мы довели до неслыханного в России совершенства. Команда моя осталась, подгнивая со всем революционным гарнизоном» (27). С открытой симпатией он описывает людей такого же склада, почти игнорируя при этом их политические установки. Вместе с ними он и едет на фронт. Один из них — блестящий организатор, инженер Ципкевич, «бывший правый эсер, а теперь, в сущности говоря, человек “вне политики”» (26). «Революция беспокоила его, путая все схемы и расписания. Я же был послан как ответственный агитатор» (26). Тут впору уточнить, что Шкловский всегда был убежденным оборонцем — но не из собственно агрессивно-патриотических побуждений (он был решительно против «аннексий и контрибуций»), а в надежде на то, что победа даст России возможность перейти от кровавого хаоса к правильно отрегулированной мирной жизни; еще важнее, что эта победа приведет к революции в монархических державах Оси: сперва в Германии, а потом в Австро-Венгрии и Румынии. «Ошибка моя была в том, — признается автор, — что нельзя было наступать, имея за собой сирену — демократическое правительство с буржуаз-

ным хвостом. Нельзя драться, имея драку в тылу. Наступление, по-моему, было необходимо потому, что победа войск республики быстро оправдала бы революцию в Германии <...> Нужно было наступать, пока еще была армия, но нужно было однородное правительство с быстрым проведением программы-минимум». Если угодно, это тоже была мечта о мировой революции — только не большевистского, а республиканско-демократического толка (кстати сказать, надежда на эту альтернативную мировую революцию, вынашиваемая в российских демократических кругах, — все еще плохо изученная тема).

Его последнее предотъездное впечатление — речь Ленина в Петроградском совете, заметно поколебавшая веру Шкловского в возможность остановить процесс распада: «Ленин говорил речь с элементарной стремительностью, катя свою мысль, как громадный булыжник; когда он говорил о том, как просто устроить социальную революцию, он сминал перед собою сомнения, точно кабан тростник <...> С этим ощущением стремительной, слепой, всех топчущей силы я и уехал на фронт» (28). Шкловский знал, однако, что русское наступление неизбежно — и примечательно, насколько его тогдашние мысли коррелируют с рассуждениями Толстого в «Войне и мире» — или, если угодно, упреждают последующие толстоведческие труды самого исследователя. Дело не столько в планомерности и логичности действий, задуманных в генеральном штабе, — в игру вступают теперь иные, элементарные и почти физиологические факторы; но и у них, как всегда у Шкловского, есть некая механическая подоплека: по его словам, нельзя попросту «собрать всех мужчин под ружье, отобрать от дела и так стоять, замахнувшись. Армия должна была или воевать, или разбежаться. Пока она решила воевать» (30). Однако эта решимость все явственнее разъедается пораженческим настроением, озвученным Лениным и его сообщниками. Центробежная сила управляемого ими хаоса уже отзывается и в Киеве, куда только что прибыл Шкловский и откуда он должен будет отправиться в зону военных действий. По сути, в Киеве он застал лишь самое начало губительной пацифистской коррозии. Одну ее сторону представлял исподволь созревающий украинский национализм германфильского пошиба, а другую — та инстинктивная тяга к сдаче, дезертирству и тотальному грабежу, которая найдет для себя идеологическую санкцию в лозунгах коммунизма; и здесь Шкловский использует один из своих любимых литературоведческих терминов — «мотивировка»:

«Комитетчик-большевик еще не появился, изредка в комитет проникал какой-нибудь солдат, находящийся вне круга интеллигентско-социалистической мысли, и этот “зверь из бездны” говорил мрачные слова, запутанные, но понятные. Эти люди называли себя большевиками, масса их состояла главным образом из шкурников, т.е. людей, настроенных не жертвенно, а поэтому людей невозможных на фронте — где все были жертвами. <...> В солдатской массе они уже имели влияние, но уважаемы не были. Большевизм масс явился позже как результат отчаянья, как словесная мотивировка отказа даже от обороны» (30–31).

Стихия безудержной говорильни, оказавшейся издержками новообретенной свободы, конечно же, ослабляла армию в канун ее наступления: «Демократический принцип обсуждения был доведен здесь до абсурда <...> Но тогда это не казалось мне странным». Трудно понять, почему столь вопиющая порча военной машины не ужасала автомеханика Шкловского; но некоторое оправдание для себя он все же находит в реакции такого образцового служаки, как командующий фронтом:

«Не думаю, чтобы отчетливо понимал безнадежность положения и Корнилов. Он был прежде всего военный. Генерал, ходящий в атаки, пробивающийся с револьвером. К армии он относился так же, как хороший шофер к автомобилю. Шоферу важно прежде всего, чтобы

машина шла, а не то, кто на ней едет. Корнилову нужно было, чтобы армия дралась. Он удивлялся на странный революционный способ готовить наступление. Он хотел еще верить, что драться можно. Так шофер, недоверчиво пробуя новую смесь, очень желает, чтобы на ней можно было ездить, как на бензине, или способен увлечься мыслью о езде на карбите или скипидаре» (34).

Неудивительно, что, как подчеркивает Шкловский, инициаторами активных боевых действий были наиболее культурные и интеллигентные военнослужащие. Только у них хватало воображения, чтобы рассматривать армию как целостное формирование, отвечающее за судьбу страны и революции, а не как конгломерат обособленных и подразделений, под предлогом миролюбия косноязычно отстаивавших свои эгоистические интересы. Патриотизм в данном случае идеально совпадал с техническим профессионализмом, столь ценным автором: «Должен сказать, что все квалифицированные части армии были за наступление, а главное — за сохранение порядка и организованности. Люди городской культуры — более самоотверженные. У них в голове больше воображения, и они не могут себе представить “11-ю дивизию” или “5-ю роту” как нечто автономное» (46). (В этом своем ужасе по поводу культуры, добываемой в стране, где так болезненно ощущался ее дефицит, Шкловский, к слову сказать, во многом сходится со своим противником — пацифистом Горьким периода «Новой жизни». Ведь Горького тоже одолевал страх за культуру, страх за судьбу немногих квалифицированных людей в России — рабочих и интеллигентов, стоящими перед угрозой гибели; и эта тревога диктовала ему тогда борьбу против Ленина с его опасными социальными экспериментами.) Эти люди, продолжает Шкловский, «может быть, и ошибались, но они ошибались жертвенно, честно, решаясь на смерть, только бы разорвать на шее революции петлю, затянутую войной» (47). «Бывало и так, что австрийский полк выбивался одними нашими офицерами, телефонистами и полковыми саперами. Врачи ходили резать проволоку, а части не поддерживали. Вся неквалифицированная Россия буксовала» (64). Как раз в этой «неквалифицированной» среде и господствовали пораженческие настроения: «Почему мы не понимали, что нельзя воевать, имея такую слизь на фронте?» — задним числом сомневается мемуарист. Непонятную и ненужную ей демократию эта «слизь» использовала лишь как предлог для дезорганизации в преддверии повального дезертирства; мыслящая личность здесь вытеснялась единым капитулянтским и паническим настроением, ищущим для себя любой мотивировки: «Полки не знали свободы слова. Они рассматривали себя как одну голосующую единицу. За противоречие били» (45).

С другой стороны, Шкловский охотно подчеркивает колоссальную роль случайных ситуаций, слабо поддающихся учету и зачастую кардинально меняющих к лучшему дух того или иного подразделения. В итоге перед нами вырисовывается нечто вроде формалистической теории о том, как побочные или вторичные обстоятельства выдвигаются на первый план и становятся определяющими, — идея, которая станет сквозной, например, в блестящем исследовании Шкловского «Материал и стиль в романе Л. Толстого “Война и мир”» (1928). Под влиянием переменчивых окказиональных факторов апатичная масса может преобразиться — и он рассказывает о том, как самоотверженно порой дрался какой-либо полк, в котором раньше царили равнодушие и пораженчество. «Армия России, — пишет он, — имела грыжу еще до революции. Революция, русская революция с максимализмом демократизма Временного правительства, освободила армию от принуждения. В армии не осталось законов, не осталось даже правил. Но был состав квалифицированных людей, способных на жертву и на держание окопов. Возможна была война, короткая и молниеносная, без принуждения. Ведь

на фронте враг — реальность. Видно — пойдешь домой, и он пойдет сзади. Во всякой армии $\frac{3}{4}$ не сражаются; если бы появились в эту войну войска, которые сражались бы так, как работают люди на себя, они могли бы не только наступать на Германию, но идти через Германию на Францию. Когда Рогатинский полк, имевший 400 штыков, увидел, как при нем закололи немцы его полкового командира, он освирепел и избил в бою до одного целый немецкий полк в полном составе» (69–70). Шкловский и сам поднял в атаку залегший было полк, во все не помышлявший о наступлении. Но прием остранения акцентирован и здесь — дело, оказывается, совсем не в героизме. Парадоксальным образом, именно те факторы, которые работают на пацифизм, внезапно становятся двигателем войны: «Ненависть к войне, к себе и усталость не позволяли думать о самосохранении» (62).

Эта взаимообратимость понятий по-настоящему захватывает Шкловского. В одной из своих литературоведческих работ он писал о приеме деавтоматизации и остранения: «Нужно повернуть вещь, как полено в огне». В «Сентиментальном путешествии» таким «полоном» становятся люди, а вертят их неустанно и безжалостно. Иногда, впрочем, бывает непонятно: призвана ли спокойная, обыденная интонация, облюбованная автором для показа военного бесчеловечия, шокирующе контрастировать с человеческой нормой — или же она сама с серой протокоальностью отражает чудовищную реальность, сделавшуюся нормой. Вот, например, одна из сцен, связанная с истреблением курдов, которым тешили казаки из состава экспедиционного корпуса в северной Персии. Заметим, что дело происходит уже после российской демократической революции. «Кстати, о жалости. Мне описали следующую картину. Стоит казак. Перед ним лежит голый брошенный младенец-курденек. Казак хочет его убить, ударит раз и задумается, ударит второй и задумается. // Ему говорят: “Убей сразу” — а он: “Не могу — жалко”» (116).

Вполне понятно, где нашел Шкловский собственно литературные прецеденты для своих зарисовок. Он признается в глубокой антипатии к фальшивому и надуманному «Огню» Барбюса. У автора «Сентиментального путешествия» совсем другая генеалогия, глубоко родственная его чисто филологическим предпочтениям: «Про войну написать очень трудно; я из всего, что читал, как правдоподобное ее описание могу вспомнить только Ватерлоо у Стендаля и картины боев у Толстого». У обоих этих писателей его подкупал, конечно, пафос абсурдной и потому неотразимо достоверной реальности, сотканной из мелочей и случайностей, за которыми сквозят незримые силы истории. Война учила парадоксам и тем образчикам нетривиального поведения, которые теоретик Шкловский так ценил в своих филологических штудиях и которые оказывались самыми действенными реакциями в нелепице смутного времени.

На очередном митинге он вместе с другими агитаторами призывает солдат, очумелых от войны, идти в наступление. Одним из этих пропагандистов был рабочий, эсер Анардович. Призывы воевать толпе не понравились. «Нас уже решили вешать, так просто — вешать за шею, но тут всех выручил Анардович. Он начал со страшной матерной брани. Опешили и осели. Для него, революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней; он не жалел их и не боялся. <...> “Я из петли скажу вам — сволочь вы”». Подействовало. Нас начали качать и на руках донесли до автомобиля. А когда мы поехали, бросили нам вслед несколько камней» (49–50). Поведение, как видим, противоположно ожидаемому — и оттого оно выручило, хотя, разумеется, итог мог быть и иным: в обстановке свирепого сумбура жизнь зависит от любой случайности.

Другой пример смысловой инверсии. Враг может быть полезнее и лучше своих, в чем во время ранения Шкловский убедился на собственном опыте. Отечественные санитары, люди ленивые и безответственные, не ухаживали за ранеными — а «лучшие санитары были из пленных австрийцев. Австрийцы прежде всего дорожили местом, где их кормили и где с ними хорошо обращались, а потом, были более культурны и не могли, не умели плохо работать — так же, как хорошо квалифицированный шофер не может небрежно относиться к своему автомобилю» (64–65).

Высокая квалификация может и сама по себе спасти жизнь мужественному человеку, ибо внушает к себе инстинктивное почтение. Шкловский приводит примечательный эпизод с генералом Черемисовым, начальником штаба корпуса: «Когда какая-то команда решила убить его и поставила миномет против дома, он, выйдя на шум, очень спокойно доказал солдатам, что миномет здесь применен неправильно, так как фугасным действием снаряда будут разрушены соседние дома. Солдаты согласились и миномет убрали» (38–39). Однако именно потому, что высокая квалификация и прочие достоинства необходимы были повсеместно, Шкловский осудил такое революционное новшество, как создание ударных батальонов, ибо они оттягивали здоровые силы — «людей сравнительно высокой интеллигентности. Их гнала из полков тоска видеть уже начавшееся гниение армии. Но они нужнее были именно в полках, как соль в солонине» (35). (Кстати, трудно сказать, насколько прав тут мемуарист. В конце концов, затея с ударниками была перенята у итальянцев (команды «*arditi*») и немцев, которые со временем стали весьма эффективно использовать малочисленные штурмовые группы и целые батальоны: российский «ударный батальон» был просто переводом с немецкого.)

С точки зрения Шкловского, переход России к коммунизму был неизбежной и даже необходимой стадией в развитии ее запущенной болезни. Естественно, мы должны учитывать и тактические установки этого эмигранта, пытающегося добиться снисхождения у новых властей — и все же это был диагноз, не лишенный надежды на исцеление. Россия, пишет он, «начала разлагаться на первоначальные множители» (121). Большевики стали своего рода мертвой водой, заново соединяющей распадающееся тело страны, обмороком и мороком гниющего государства. «Для выяснения их роли, — говорит он, — приведу параллель. Я не социалист, я фрейдовец. // Человек спит и слышит, как звонит звонок из парадной. Он знает, что нужно встать и не хочет. И вот он придумывает сон и в него вставляет звонок, мотивируя его другим способом, — например, во сне он может увидеть заутреню. // Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виноваты в том, что они приснились» (70). Для Шкловского большевизм — это тот дикий хаос, который под собственной тяжестью рано или поздно перестроится в какой-то порядок. В конечном счете его отношение к этой власти, высказанное в «Сентиментальном путешествии», окрашено безрадостным прагматизмом, подытоженным следующим образом: «Но если бы нас спросили тогда: “За кого вы, за Каледина. Корнилова или за большевиков?” — мы <...> выбрали бы большевиков. // Впрочем, в одной комедии арлекин на вопрос: “Предпочитаешь ли ты быть повешенным или четвертованным?” — ответил: “Я предпочитаю суп”» (136).

¹ Шкловский В. Сентиментальное путешествие: Роман. СПб., 2008. С. 9. Все дальнейшие цитаты даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.